



П. Б. СТРУВЕ

Размышления о русской революции

*1. После мировой войны**

Мировая война формально закончилась с заключением перемирия между англо-французско-итальяно-американской коалицией и коалицией германской в ноябре прошлого года. Однако на самом деле все, что мы пережили и переживаем с тех пор, есть продолжение и видоизменение мировой войны. Поэтому нам следует уяснить себе прежде всего смысл мировой войны как события международной жизни, как акта международного состязания.

Мировая война была начата Германией и вытекла из ее стремления к мировому владычеству. В настоящее время это — не субъективное мнение, определяемое симпатиями того или другого лица, а непреложная историческая истина, удостоверяемая не только ходом событий, предшествовавших начатую войны, но, что гораздо важнее, ходом самой войны. Сейчас, когда трагический исход войны для Германии ясен, можно видеть, что если бы Германия не стремилась к полной победе, т. е. к мировому владычеству, она могла и должна была бы сама гораздо раньше прервать войну. Но она желала полной победы и верила в нее именно потому, что целью этой наступательной войны для нее было мировое владычество, опирающееся на превосходство военной силы. В основе войны со стороны Германии была недостижимая утопическая цель, цель именно прежде всего политически недостижимая. Она оказалась в военном отношении недостигнутой и недостижимой, потому что она была политически в широчайшем смысле,

* Публичная лекция, прочитанная в ноябре 1919 г. в Ростове-на-Дону и воспроизводимая здесь почти без изменений.

т. е. и политически-психологически, и материально-экономически, недостижимой.

В самом начале Германия из военно-стратегических соображений совершила роковую для себя ошибку: нарушение бельгийского нейтралитета. Этот факт повлек за собою немедленное вступление в войну Англии и тем сделал невозможным быстрое сокрушение Франции. Есть неопровержимые доказательства того, что германское правительство, начиная войну, рассчитывало, что Англия не сейчас вступится в нее. В силу вступления Англии в войну Германия очутилась одновременно лицом к лицу с Англией и Россией.

Против кого была направлена война Германии? И сейчас, после исхода войны, осложненного русской революцией, события, в значительной мере задуманного и осуществленного Германией, и до революции в широких русских общественных кругах держался и держится взгляд, что мировая война была состязанием между Германией и Англией, подобно тому, как наполеоновские войны были состязанием между Францией и Англией, хотя Россия играла видную и, казалось бы, решающую роль в наполеоновских войнах. По результатам это в значительной мере так. Хотя в мировой войне побежденными оказываются Германия и Россия, первая — на поле сражения и в экономическом состязании, вторая — вследствие самоубийственного акта своего — революции, намерением и заданием Германии при начатии войны было сокрушить Россию и тем самым безраздельно утвердить свое владычество на континенте Европы, что своим последствием, конечно, имело бы и мировое владычество Германии. Поэтому не формально и не случайно, а по существу и по заданию Германия войну направляла против России, Германия поставила ставку на сокрушение России.

Это обнаружилось и в ходе самой войны. Когда русская революция, подстроенная и задуманная Германией, удалась, Россия по существу вышла из войны. Чем же занялась Германия? Расчленением, т. е. разрушением России. Политика Германии имела в виду реализовать этот результат как главнейший и совершенно несомненный плод войны. Так смотрели на дело и те, кто рассчитывал одержать полную победу в войне против западных держав, и те, кто на такую победу не рассчитывал. Как известно, творец и главный деятель Брест-Литовского мира с германской стороны, статс-секретарь фон Кюльман¹, не верил в возможность полной

победы Германии на полях сражения, и за то, что он публично и как официальное лицо высказал это мнение, он, по настоянию высшей военной власти, должен был подать в отставку. Но он же провел расчленение России по Брест-Литовскому миру², и против этого германская высшая военная власть и не думала ни бороться, ни даже протестовать. А это и значит, что для Германии первой и основной целью войны, которая началась с объявления войны России, было сокрушение и разрушение России как великой державы, в ее историческом образе и в ее исторической мощи. Когда после войны 1870–1871 года знаменитый французский политический деятель и историк революции и Наполеона, потом первый президент французской республики, Тьер³, объезжая разные дворы с целью отыскания поддержки у других европейских держав, встретился, если не ошибаюсь, в Вене с знаменитым немецким историком Ранке⁴, с которым он был связан узами личной дружбы, и спросил Ранке: с кем после свержения Наполеона III⁵ Германия ведет войну? — Ранке отвечал: с Людовиком XIV⁶. Этот ответ для того, кто знает историю Европы, ясен. Смысл его заключается в том, что Эльзас был присоединен к Франции Людовиком XIV, и Германия в последней трети XIX века вела войну с Францией за отторжение Эльзаса от Франции.

Германия в 1914 г. начала войну против России и вела ее против Ивана Грозного и Петра Великого⁷, т. е. вела ее с целью сокрушения и расчленения России.

Не только бесполезно, но страшно вредно для наших союзников в войне и для наших противников в ней затемнять этот основной ее смысл. Германия проиграла не только мировую войну, но и свое собственное могущество потому, что она, поставив себе эту задачу, абсолютно неприемлемую для России, для ее государственных сил, одновременно с тем желала вести и довести до конца свою войну с западными державами. Может быть, Германия могла бы сокрушить Россию, если бы она сумела вовремя покончить войну с западными державами. Может быть, Германия смогла бы победить западные державы, если бы она сумела найти компромисс с государственными силами России, а не поставила бы себе задачей во что бы то ни стало при помощи большевизма расчленить Россию. Об этом можно много фантазировать, но это, на мой взгляд, совершенно бесплодно. Факт остается налицо: Германия стремилась в этой войне к сокрушению и расчленению России.

В декабре 1918 года я попал из советской России на Запад, сперва в Финляндию, а потом через Скандинавию в Англию и Францию. Что меня всего более поразило тогда на союзническом Западе, это — та быстрота и легкость, с какою общественное мнение союзных с нами стран усвоило себе ту точку зрения на Россию, для которой я не нахожу другого более правильного названия, как точка зрения «Брест-Литовская». Рядом с этим у западноевропейских правительств в то время не было никакой определенной точки зрения на Россию и никакой политики по отношению к ней. Союзники были очень плохо осведомлены о России, в общем удивительно незнакомы как с ее прошлым, так и с ее настоящим. Это относится как к правительствам, так и к общественному мнению. Что же касается общественного мнения в особенности, то в нем замечались, конечно, различные оттенки как непонимания и незнания России, так и враждебности к ней. В этой враждебности отчасти виноваты мы сами. Мы слишком безоглядно критиковали и порочили перед иностранцами свою страну. Мы более, чем недостаточно бережно относились к ее достоинству, ее историческому прошлому. Помимо этого, надо принять во внимание и следующее. Историческая Россия, т. е. Единая и Великая Россия, в разные исторические эпохи приходила в столкновение с теми двумя главными великими державами Европы, в союзе с которыми мы вели войну против Германии, пока вели ее. В XIX веке мы имели дважды военные столкновения с Францией и однажды с Англией. Эти прошлые столкновения, часто весьма свежие, как соперничество Англии и России на Востоке, все-таки оставили некоторый след в общественном сознании западных стран. Не надо забывать также, что в прошлом, в эпохи, когда ни Франция, ни Англия не были нашими союзницами, нас разделял «польский вопрос», являвшийся тяжким наследием всей многовековой русской истории. В «польском вопросе» западноевропейское общественное мнение было всегда против исторической России. Это, конечно, оставило свой след. Вся огромную историческую сложность польского вопроса для России, понятную для нас, знающих свою историю, на союзном Западе почти никто никогда не понимал и не понимает. Наконец — и это самое важное — Россия как Великая держава, созданная всем русским народом, отождествлялась с известной политической формой и даже уже, с известным политическим строем, с неограниченной монархией, с тем, что принято называть

на Западе французским термином «царизм». Исконная враждебность западных демократических элементов против «царизма» очень легко и быстро, с крушением и разрушением Российского государства перенеслась на Россию как Великую Державу. Эти круги рассуждали так: падение России есть падение царизма, и принимали этот факт за положительный. Мы, русские, многие, по крайней мере, рассуждали прямо обратно. Поскольку крушение монархии для русских означало крушение и самой России, многие образованные русские, не бывшие монархистами, стали монархистами из русского патриотизма. И, конечно, с точки зрения русского патриотизма это было единственное правильное рассуждение. Но не так рассуждали иностранцы; многие из них прямо заключили, что раз пал не одобряемый ими «царизм», то, значит, пала и Россия. Этому содействовали те инородческие элементы, которые якобы боролись за *русскую* революцию, но когда эта революция разрушила Россию, весьма быстро и развязно отвернулись от России, став самыми яркими проповедниками или, если угодно, самыми усердными коммивояжерами германской идеи расчленения России, положенной в основу брест-литовского мира. Все хорошо знают имена этих борцов за русскую революцию, которые, став деятелями расчленения России, тем сильнее обличили историческую сущность самой революции.

С другой стороны, пока продолжалась война, еще не вскрылись внутренние противоречия между фактом войны, ее подлинными *государственными* и национальными мотивами для разных стран, и той идеологией, которая была создана в процессе войны, как психологическая к ней приправа, как своего рода «допинг». Запад сам страждет этим противоречием, заключенным в мировой войне. Мировая война была коалицией великих и малых держав против Германии и ее замыслов мирового владычества, но по мере того, как затягивалась война и в нее вовлекались все большие и большие массы, от которых требовались все большие и большие жертвы, выдвигалась особая демократическая идеология, в силу которой Германия, несмотря на ее демократическое избирательное право, на ее могущественную социалистическую партию, которая поддерживала правительство в течение всей войны до ее рокового для Германии исхода, — с ее сильной монархической властью, была провозглашена врагом мировой демократии, которая борется за осуществление своего демократического идеала. Рядом с этим

провозглашен был принцип самоопределения народностей. Эта демократическая идеология обратилась против тех государств и народов, которые оказались побежденными в мировой войне. Версальский мир с его дополнением есть итог двух тенденций; он — сложная амальгама национальных стремлений всех держав-победительниц с «вильсонизмом», с «Лигой Наций»⁸ и вообще с той идеологией войны, которая, в сущности, создавалась после начала войны, и с национально-государственными стремлениями держав, начавших войну, имеет мало общего. В результате все выгодные следствия демократических начал идут в пользу победителей и их союзников, а все невыгодные обращаются против побежденных держав и их союзников. Это нормально, но лишь до известной степени, лишь поскольку невыгодные следствия вытекают из неотменимого факта победы в мировой войне определенной группы держав. Этот реальный факт, а не какая-либо идеология, должен определять собою следствия войны.

Постановка «русского вопроса» на Западе сложилась под влиянием указанных выше внутренних противоречий мировой войны. Ее идеология, чуждая ее национально-государственному существу, в значительной мере определила собой то, что Россия попала как бы в разряд побежденных стран. Между тем если Россия кем-нибудь и чем-нибудь побеждена, то она побеждена Германией при помощи русской революции и поскольку победила в мировой войне не Германия, а союзники исторической России, трактование последней как побежденной страны есть великая и опасная бессмыслица. Поскольку такое трактование вытекает из демократической идеологии войны, мы, русские, как русские, отвергаем эту идеологию и боремся с ней. Поэтому мы отвергаем чьи-либо программные притязания, предъявляемые к России, и иностранную помощь, оказываемую нам в борьбе с мировым злом большевизма, мы понимаем и принимаем — не как вмешательство иностранцев в наши внутренние дела. С нашей точки зрения единственно правильная постановка «русского вопроса» перед союзниками такова: союзники сами заинтересованы в нашей борьбе с большевизмом, ибо большевизм есть существенный эпизод самой мировой войны.

Во-1-х. Создание Германии и германской пропаганды, признанная Германией разрушительная сила, большевизм есть мировая опасность, опасность для всех стран, находившихся с нами в союзе

против Германии. Во-2-х — наши союзники заинтересованы в восстановлении России, в ее старой мощи, ибо такая сильная, Единая и Великая Россия есть существенный элемент мирового равновесия, без которого удержание важнейших результатов мировой войны и сохранение мира прямо-таки невозможно.

По-видимому, это обоснование необходимости поддержки противобольшевистских сил России и главной силы, той подлинной и коренной патриотической России, которая родила из себя Добровольческую армию, просто логически неотразимо и политически неопровержимо.

Но если державы-победительницы, наши союзницы, лишь медленно и постепенно приходили к пониманию русского вопроса, то это объясняется не только теми историческими и психологическими причинами, которых я уже касался. Это объясняется еще тем, что державы-победительницы сами испытывают внутренний кризис, который есть следствие войны и русской революции.

Мировая война недаром имела демократическую идеологию. Страшно напрягши экономические силы всех стран, участвовавших в войне, она вызвала на сцену новые силы или, по крайней мере, в огромной степени усилила некоторые прежние. В ведении этой войны государства, как никогда прежде, апеллировали к народным массам. Это была, по самому характеру своему, народная и демократическая война и потому-то она частично закончилась рядом революций.

Это демократическое существо мировой войны и демократический фундамент ведшего ее милитаризма объясняют тот внутренний кризис, который переживают не только побежденные страны, Германия и распавшаяся в результате войны Австрия, но и державы-победительницы. К этой основной причине присоединился огромный по своему психологическому значению факт русской большевистской революции.

Во время войны и в силу войны народные массы и, в частности, социалистически настроенные массы почувствовали свою силу. И вот, когда произошла русская революция, сразу принявшая крайний демократический и социалистический характер, это событие имело крупное значение для психологии западноевропейских народных масс. Пока длилась война, в социалистически настроенных массах Запада держалась известная государственная дисциплина, подкреплённая демократической идеологией,

как своего рода допингом. Но когда война кончилась, кончилась поражением Германии и крушением и в ней монархии, не стало надобности в прежней государственной дисциплине. С другой стороны, русская революция, по причинам, в которых западные люди вообще не могли отдать себе отчета, оказалась эпизодом не на недели, не на месяцы, а на годы. Западные люди в массе не способны были, да и сейчас не способны понять, что господство большевиков объясняется незрелостью русских масс, культурной отсталостью страны. Никакого реального представления о русском большевизме у западноевропейских масс нет; они знают только, или, вернее, мнят себе, что знают, что большевизм есть осуществление того социализма и того господства рабочего класса, о котором они слышали так много умных речей, вещей прорицаний и соблазнительных посулов. Отсюда — крайняя идеализация русского большевизма в широких кругах западноевропейской рабочей среды, идеализация, если угодно, детская, но именно потому пока что непобедимая доводами разума, ни уроками истории, данными где-то далеко, в этой неведомой и непонятной России. С другой стороны, социалистические партии и организации Запада (не все, но некоторые, и в некоторых странах самые влиятельные) сознательно, вопреки разуму и очевидности, идеализируют большевизм, так как ссылка на русский пример и борьба со своими правительствами из-за русского вопроса есть главное демагогическое оружие в руках западноевропейских социалистических партий.

Так возникла проблема большевизма на Западе. Имеет ли большевизм шансы на Западе? Этот вопрос я попытаюсь осветить совершенно объективно на основании своего знания социальной истории Запада и своих личных впечатлений и наблюдений.

Прежде всего *бытовой основой* большевизма, так ярко проявившейся в русской революции, является комбинация двух могущественных массовых тенденций: стремления каждого отдельного индивида из трудящихся масс работать возможно меньше и получать возможно больше и 2) стремления массовым коллективным действием, не останавливающимся ни перед какими средствами, осуществить этот результат и в то же время избавить индивида от пагубных последствий такого поведения. Именно комбинация этих двух тенденций есть явление современное, ибо стремление работать меньше и получать возможно больше существовало всегда, но всегда оно подавлялось непосредственным наступлением

пагубных последствий для индивида от такого поведения. Эту комбинацию двух тенденций можно назвать *стихийным экономическим или бытовым большевизмом*. Этот стихийный большевизм, несомненно, широко расцвел на Западе после окончания войны, и он уже дал свои плоды и там, сказавшись в падении производительности труда и производства. Но большевизм, как он обнаружился в России, есть не только это, а целое политическое и социально-политическое движение, опирающееся на указанные две могущественные массовые тенденции и стремящееся, опираясь на них, организовать социалистический строй при помощи захвата государственной власти. Большевизм есть комбинация массового стремления осуществить то, что один социалист, Лафарг⁹, назвал «правом на лень», с диктатурой пролетариата. Эта комбинация именно и осуществилась в России, и в осуществлении ее состояло торжество большевизма, пережитое нами.

Возможен ли в этом смысле большевизм на Западе?

Я на этот вопрос даю категорический ответ: нет, невозможен. Социальное строение Запада и его культурный уровень совершенно несовместимы с большевизмом в этом смысле.

Что это значит?

А значит это, что всякая попытка в большевистском смысле встретит такое сопротивление и во всей буржуазии Запада, и в значительной части его трудящихся масс, какого она не встретила в России.

В сущности, опыт уже проделан в одной стране, которая исходом войны была особенно подготовлена к большевизму, а именно в Германии. В ней большевистские попытки потерпели полное поражение. И это неслучайно, так же, как неслучайно, что из всей Западной Европы большевизм продержался некоторое время только в Венгрии, экономически и культурно самой отсталой западноевропейской стране.

Перейдем к другим странам, Англии и Франции.

В Англии особенные условия ее политического развития привели к тому, что только недавно рабочие массы стали самостоятельно, с своей особой политической физиономией, принимать участие в политической жизни страны. Это обуславливает известную неподготовленность и наивность английского рабочего класса в больших вопросах политической и социальной жизни. Такая неподготовленность создает, казалось бы, возможность

непродуманных выступлений и рискованных шагов со стороны рабочего класса и его отдельных групп. Но, будучи не подготовлен к широкой политической жизни и борьбе, английский рабочий класс включает в себя элементы, чрезвычайно опытные в ведении деловой борьбы с предпринимателями за улучшение условий труда. Эти элементы рассматривают классовую борьбу не как борьбу политическую, а как деловое состязание реальных экономических сил. К политическим вопросам и к необоснованным экономическим выступлениям, к борьбе ради борьбы, они относятся отрицательно. Они привыкли организовывать и действовать организованно в деловых профессиональных союзах, в трэд-юнионах. Соответственно этим двум противоположным чертам английского рабочего класса, в нем борются две тенденции: наивно-боевая и обдуманно-деловая.

Какая же из этих двух тенденций возобладает в ближайшее время?

Нет никакого сомнения в том, что наивно-боевая тенденция в последнее время все усиливалась. Она привела к целому ряду стачек, чрезвычайно необдуманных. Эти резкие выступления кончились полным поражением рабочих, причем железнодорожная забастовка, как особенно затрагивающая интересы всего государства, вызвала решительное и организованное сопротивление со стороны правительства и буржуазии и об это сопротивление разбились. Кроме того, тут обнаружилось то, что мы, экономисты, понимали и знали давно, а именно, что рабочий класс есть собирательное понятие, в сущности, объемлющее различные группы с разными интересами. Поскольку рабочий класс действительно сознателен, а не одурманен общими местами и лозунгами, выступления отдельных групп, затрагивающие интересы всего народного хозяйства, должны в других группах того же рабочего класса вызывать решительный отпор. Поэтому всеобщая забастовка или хотя бы всеобщая железнодорожная забастовка есть эксперимент чрезвычайно рискованный в экономически и культурно развитой стране. Недавние неудачные рабочие выступления, произведенные по подстрекательству крайних элементов, весьма дискредитировали последние. Мы можем теперь сказать про Англию, что в ней первые опыты рабочих выступлений в близком к большевизму направлении потерпели неудачу, обусловленную решительным сопротивлением государства, буржуазии и значительных элементов

самого рабочего класса. Таким образом, в Англии возможен большевистский уклон рабочего движения, но невозможен большевизм в русском смысле.

Во Франции политические традиции рабочего класса и в особенности социалистической партии предрасполагают к большевизму. Идея захвата власти рабочим классом и насильственного введения социализма есть идея французского происхождения. Но во Франции рабочий класс малочисленное, чем в Англии. Преобладающую роль во Франции играет крестьянство, т. е. сельская буржуазия, и мелкая городская буржуазия. Эти классы в подавляющем своем большинстве враждебны социализму и в особенности враждебны ему в его насильнической большевистской форме. По психологии французского рабочего класса большевистские вспышки чисто политического характера во Франции более возможны, чем в Англии, но всякая такая вспышка вызовет не просто реакцию, *а прямое и непосредственное* сопротивление. Крестьянство и городская буржуазия во Франции ни на одну минуту не потерпят социалистического засилия. В случае каких-либо настоящих большевистских выступлений во Франции ружья сами начнут стрелять.

Вот соображения, основанные на анализе западноевропейской действительности, которые приводят меня к категорическому выводу: большевизм в русской форме на Западе невозможен.

Тем не менее русская социалистическая революция имеет очень крупное значение для Запада. Это — первая в мировой истории социалистическая революция, первый опыт осуществления социализма в широком масштабе, т. е. как целостной системы, проводимой велением власти. Перед мировой войной на Западе явственно обозначилось явление, которое нельзя определить иначе, как кризис социализма, и которое я именно и охарактеризовал в свое время этим термином. Т<ак> наз<ываемый> научный социализм Маркса, или марксизм, утверждал, что социализм придет как планомерная организация, обобществление или социализация производства, на основе захвата государственной власти пролетариатом, т. е. на основе политической революции. Кризис социализма и его идеи начался, как я уже сказал, задолго до войны, и начался он с двух концов. С одной стороны, метод политической парламентской борьбы, которую, как подготовку к захвату власти, применяла и проповедовала социал-демократия,

был подвергнут сомнению и отвергнут т<ак> наз<ываемым> синдикализмом, выдвинувшим вместо этого так называемое «прямое» и по преимуществу экономическое действие в форме стачечной и иной борьбы. Против революционного политизма правоверной марксистской социал-демократии этот синдикализм, выросший на почве анархических идей, выдвинул революционный экономизм. Как-то в форме экономических бунтов должно было быть произведено преобразование капиталистического общества в новую форму. Рядом с этим в самой марксистской социал-демократии стало происходить разделение: часть социал-демократов перестала верить в захват власти, в политическую революцию, в диктатуру пролетариата как метод осуществления социализма. Революционное понимание социализма стало вытесняться эволюционным.

Так с двух сторон идея социализма как целостной и продуманной, исторически-обоснованной системы подтачивалась.

В этот процесс вклинилась мировая война и русская революция.

Мировая война, как я уже сказал, выдвинула на авансцену широкие народные массы и в то же время заставила государство применить в небывалых размерах тот принцип государственного вмешательства в экономическую жизнь, доведение которого до конца и составляет социализм. А русская революция, казалось, давала опыт осуществления социализма в рамках одного из величайших государств.

Но мы знаем теперь, что большевизм есть и крушение социализма. В большевизме столкнулись две идеи, две стороны социализма, и это столкновение на опыте обнаружило невозможность социализма, как он мыслился до сих пор, т. е. как целостного построения.

Социализм требует, во-1-х, *равенства* людей (эгалитарный принцип). Социализм требует, во-2-х, организации всего народного хозяйства, и в частности процесса производства.

Социализм требует и того, и другого, и одного — во имя другого. Но оба эти начала в своем полном или конечном осуществлении противоречат человеческой природе и оба они, что, быть может, еще несомненное и еще важнее, противоречат друг другу. На основе равенства людей вы не можете организовать производства. Рост производительных сил есть теоретическая и практическая альфа и омега марксизма, этой основы научного социализма.

Социализм — учит марксизм — требует роста производительных сил. Социализм — учит опыт русской революции — несовместим с ростом производительных сил, более того, он означает их упадок.

Русская революция потому имеет всемирно-историческое значение, что она есть практическое опровержение социализма, в его подлинном смысле учения об организации производства на основе равенства людей, есть опровержение эгалитарного социализма. На этой основе не только нельзя повысить производительных сил общества, она означает роковым образом их упадок. Ибо эгалитарный социализм есть отрицание двух основных начал, на которых зиждется всякое развивающееся общество: идеи ответственности лица за свое поведение вообще и экономическое поведение в частности и идеи расценки людей по их личной годности, в частности по их экономической годности. Хозяйственной санкцией и фундаментом этих двух начал всякого движущегося вперед общества является институты частной, или личной, собственности.

На русской революции оправдалась идея одного из величайших умов России, одинокого Чаадаева¹⁰: «Мы как будто живем для того, чтобы дать какой-то великий урок человечеству». Мы в нашей социалистической революции дали такой великий урок: *опытное опровержение социализма*.

Оглядываясь назад, на все то, что служило предметом моей настоящей беседы с вами, я думаю, что я могу и должен сделать следующий вывод.

Революция 1917 г. есть великое крушение нашего государства. Русская революция есть эпизод мировой войны. Так как преодоление революции еще не завершилось, то для нас мировая война еще не кончилась.

Мы потерпели крушение государства от недостатка национального сознания в интеллигенции и в народе. Мы жили так долго под щитом крепчайшей государственности, что мы перестали чувствовать и эту государственность, и нашу ответственность за нее. Мы потеряли чувство государственности и не нажили себе национального чувства. Вот почему история вернула нас в новой форме к задачам, которые, казалось, были разрешены навсегда нашими предками. Единственное спасение для нас — в восстановлении государства через возрождение национального сознания. После того, как толпы людей метались в дикой погоне за своим

личным благополучием и в этой погоне разрушали историческое достояние предков, нам ничего не остается, как сплотиться во имя государственной и национальной идеи. Россию погубила безнациональность интеллигенции, единственный в мировой истории случай забвения национальной идеи мозгом нации.

Русский национализм не может рассчитывать на то, что Запад и его общественное мнение легко поймут неотвратимость развития национального сознания в России, необходимость завоевания России идеей национализма. Для Запада работа этой новой в России духовной силы долго будет казаться простой реставрацией старого порядка и старого духа. Но это не так или, вернее, не так просто. Русский народ был великим государственным народом, но величие его стихийного государственного творчества погасило или, вернее, не дало развиваться в нем, в его образованном классе живому национальному сознанию. Ужасные испытания, через которые проходит русское сознание, великий кризис, который мы переживаем и который есть в то же время кризис такого мирового явления, как социализм, делают те события, свидетелями, участниками и жертвами которых мы являемся, страшной огненной пещью. Из этой печи должны выйти люди, обновленные несказанными страданиями.

Летом 1919 года я посещал опустошенные местности Франции. Я видел города, обращенные не просто в развалины, а в груды камней. Когда я взобрался на одну такую грудку, составленную из камней и каменной пыли, мне сказали, что это кафедральный собор города Ланса. Но и во время созерцания этих ужасных материальных разрушений на чужбине я не мог отделаться от мыслей о России. Я думал о том, что духовные нравственные опустошения, произведенные «русским бунтом, бессмысленным и беспощадным» на моей родине, превосходят по своей глубине и пагубности все физические опустошения, перенесенные другими странами. Я думал о том, что мы, русские, должны не выстраивать новые города на месте прежних, а совершить нечто гораздо более трудное и великое: воссоздать разрушенную храмину народного духа, воскресить поверженный и поруганный образ родины-матери, выношенный в душах бесчисленных поколений благочестивых верных сынов России. Но мы, люди всех возрастов, повинны сделать это, чего бы то ни стоило. Это наш долг и перед нашими предками, и перед нашим потомством.

*II. Новая жизнь и старая мощь (Исторический смысл русской революции)**

Русская революция есть великая историческая проблема, я бы сказал, почти — загадка. В самом деле: народ, который создал огромное и могущественное государство и, при посредстве этого государства, — великую, богатую и многостороннюю культуру, объятый каким-то наваждением, в кратчайшее время разрушил сам это великое государство — ради преходящих выгод и призрачных благ. Народ, давший Петра Великого, величайший индивидуальный гений государственности, поддался соблазну разрушения государства, глашатаями которого явились множество слабых, бездарных, безличных, безнравственных людей, выдвинувшихся в вожди не потому, что их выносила собственная крупная личность, а именно потому, что, по своей безличности, они без конца льстили толпе и ее ублажали.

Русская революция, говорю я, загадка.

Государственное самоубийство государственного народа. Эту загадку, однако, предчувствовали многие люди самых различных направлений, и притом не только русские. В литературе, в особенности второй половины XIX века, можно найти множество предчувствий, что в России когда-нибудь произойдет не просто политическая революция, а целая социальная и культурная катастрофа. Самый известный пример таких предчувствий — это замечательная литературная переписка знаменитого французского историка-художника Мишле¹¹ с нашим бесподобным, во многих отношениях, художником-публицистом Герценом¹². Мишле с ужасом отвращается от видения русской революции, которая рисовалась ему как «страшное зрелище демагогии без чувства, без мысли, без принципов». Герцен в то время идеализировал и русский народ, и русскую интеллигенцию, и грядущая всесторонняя русская революция представлялась ему как величайшее достижение русского и вселенского духа, абсолютно независимого и свободного.

* В основу этой статьи, как и предыдущей, легла публичная лекция, прочитанная в Ростове-на-Дону в ноябре 1919 г. Исключены лишь места, вследствие новых событий утратившие значение. — П. С.

Но и в наше время были предчувствия и предсказания русской революции, не просто как политической революции, а как целой социальной и государственной катастрофы. Характерно, что Германия, которой в русской революции принадлежала, вне всякого сомнения, роль режиссера, точнее, роль полицейского устроителя и финансирующей силы, создала, до русской революции, целую литературу о ней в связи с государственным банкротством России. Это были *теоретические* проекты того разрушения России, за которое в мировую войну Германия взялась *практически*. Но были предчувствия грядущего и с противоположной стороны. Я не могу отделаться от того впечатления, которое я выносил из неоднократных бесед с покойным П. А. Столыпиным: у него было какое-то предчувствие русской революции именно в той катастрофической форме, в которую она осуществилась. С другой стороны, один русский публицист совершенно другого лагеря, чем Столыпин, но хорошо его понимавший, неоднократно развивал в беседе со мной понимание русской революции именно как катастрофы, государственной и культурной.

Чем же объясняется эта историческая загадка, которую многие предвидели или, вернее, предчувствовали?

Этот сложный вопрос может быть разъяснен только обращением к истории: подобная катастрофа не может не корениться глубоко в историческом развитии всего русского народа и его власти.

Россия переживает в начале XX века глубочайшее потрясение, и взоры наши естественно обращаются за триста лет назад, в эпоху первой великой русской смуты, которая предшествовала воцарению дома Романовых.

Чем была вызвана эта смута? С одной стороны, смена угасшей династии новой, появление которой на сцене было одновременно основано на трех фактах: на родстве или свойстве с прежней, на выслуге или заслугах и на избрании земским собором и московской толпой. Смена династии сама по себе прошла вполне спокойно. Но в смуте была заинтересована иностранная держава, Польша. И еще не успел Борис Годунов¹³ сойти со сцены, как открылся претендент и началась смута, состоявшая в том, что претендент, опираясь на интерес и содействие Польши, стал искать престола и ради этого организовывать преданную ему вооруженную силу, устраивая бунты против той власти, которую он стремился свергнуть.

В смуте XVII века, таким образом, важную, если не основную, роль играла иностранная интрига, которой государственно и культурно слабая Русь не смогла сразу противопоставить крепкого национального сопротивления. Словом, смута была событием или процессом не только внутренней жизни России, но и вытекла из ее международного положения. В смуте XVII в. есть удивительно много черт, сходных с современными событиями: то же духовное шатание не только народных масс, но и высших классов, то же использование чужеземцами внутренней борьбы. Смута была продолжением тех политических и социальных процессов, которыми слагалось Московское государство. Смуту поддерживали честолюбивые притязания боярских семей, которые мешали утвердиться признанной династии; смуту питали грабительские стремления служилых людей и анархические тенденции народных масс. Так же, как в наше время, поразительно в смуте XVI–XVII в. отсутствие нравственной твердости и подлинного патриотизма в высших классах, слабость национального сознания в классах средних, анархическая настроенность народных масс. Только в силу этих свойств было возможно столь легкое низвержение двух законных династий Годуновых и Шуйских¹⁴ и постыдная история поддержки нескольких самозванцев не только темными народными массами, но и представителями таких классов, как боярство, дворянство и духовенство. Глубину нравственного падения высших классов рисуют такие факты, как признание царицей Марией Нагих¹⁵ самозванца за своего убитого сына, как признание Тушинского вора¹⁶ отцом будущего основателя династии Романовых митрополитом ростовским Филаретом, который за это был наречен патриархом. Государственную беспринципность высших классов обличает, напр<имер>, тот факт, что из вражды к царю Василию Шуйскому¹⁷ путивльский воевода князь Григорий Шаховской¹⁸ поднял чисто большевистское народное восстание против царя во имя самозванца. Вот как историк характеризует это движение: «предводители отрядов, руководимые князем Шаховским, начали возмущать... крестьян против помещиков, подчиненных против начальствующих, безродных против родовитых, мелких против больших, бедных против богатых. Все делалось именем Димитрия¹⁹. В городах заволновались посадские люди, в уездах крестьяне; поднялись стрельцы и казаки. У дворян и детей боярских зашевелилась зависть к высшим сословиям — стольникам,

окольничим, боярам; у мелких торговцев и промышленников — к богатым гостям. Пошла проповедь вольницы и словом и делом: воевод и дьяков вязали и отправляли в Путивль; холопы разоряли дома господ, делили между собою их имущество, убивали мужчин, женщин насиловали, девиц растлевали» (Костомаров²⁰). Это то движение, которое связано с именем Болотникова²¹. «Вы все боярские холопы, — говорилось им, — побивайте своих бояр, берите себе их жен и все достояние — поместья и вотчины. Вы будете людьми знатными; и вы, которых называли шпынями и безыменными, убивайте гостей и торговых богатых людей, делите между собою их животы. Вы были последние — теперь получите боярство, околичества, воеводства. Целуйте все крест законному государю Димитрию Ивановичу».

Россия была спасена от смуты тем, что против смуты наконец организовалось национальное движение. Это было движение против смуты и иноземного врага, каковым тогда были поляки, явившиеся в значительной мере творцами самой смуты. Есть даже историки, которые думают, что *главный* источник смуты следует искать именно не внутри, а во вне, в стремлениях католической церкви овладеть духовно русским народом и в стремлении польского государства — подчинить себе политически Московское государство.

Кто же совладал со смутой, кто восстановил государство?

Историки-народники, как столь различные и спорившие между собой Костомаров и Забелин²², думают, что эту задачу разрешили сами народные массы, «народная громада», как выражается Костомаров, «народ-сирота», как говорит Забелин. Теперь, после замечательного исследования С. Ф. Платонова²³, этого народнического идеализма не приходится опровергать. *Россию от смуты спасло национальное движение, исходившее от средних классов, среднего дворянства и посадских людей и вдохновляемое духовенством, единственной в ту пору интеллигенцией страны.*

Выразителями этого национального движения средних классов были исторические фигуры Прокопия Ляпунова, князя Димитрия Пожарского и Кузьмы Минина²⁴.

Любопытно само собой напрашивающееся сравнение Добровольческой армии с нижегородским ополчением²⁵. Ядром нижегородского ополчения явились беженцы, смоленские дворяне, изгнанные из своей родины поляками и нашедшие себе приют

в нижегородской земле, подобно тому, как ядром Добровольческой армии явились беженцы-офицеры, нашедшие себе приют в Донской области и на Кубани. И то, что старый летописец говорит о кн. Пожарском и Минине, всецело применимо к Корнилову и Алексееву²⁶: «положили они упование на Бога и утешили себя воспоминаниями, как издревле Бог поражал малыми людьми множество сильных». Аналогии между той эпохой и нашей, повторяю, поразительны. Разве эпопея Скоропадского не воспроизвела призвания королевича Владислава²⁷, которое также диктовалось не одними своекорыстными мотивами, а в известной мере государственными побуждениями? Разве в то время не замечалось признаков разложения и распада государства, совершенно аналогичного тому, что переживаем мы? Но Московское государство спасло национальное чувство русского человека, в ту эпоху, как и теперь, неразрывно связанное с верой и Церковью. «Нельзя сказать, — говорит один историк, — что больше поднимало русский народ — страх ли польских насилий над своими телами и “животами”, или страх за веру — и то, и другое соединялось вместе, тем более, что те, которые не уважали веры, по народному понятию, само собою не могли быть справедливы и милостивы к православным людям».

Итак, Россию спасло, повторяю, национальное движение средних классов, руководимое идеальными мотивами охраны веры и Церкви и спасения государства.

Расшатав государство, смута не произвела никакого социального переворота и в этом смысле не была вовсе революцией. Анархически-большевистское содержание исчезло, не оставив никакого следа в учреждениях. Но смута, в которой высший класс, боярство, не раз изменял власти и государству, довершила превращение этого класса в высший разряд всецело подчиненного монархической власти служилого сословия. До Василия III и Ивана Грозного²⁸ государством правили царь и боярская дума. При Василии III и Иване Грозном было откровенное самодержавие, особенно подчеркнутое у Грозного царя. После смуты рядом с царем стала земля в образе земских соборов. Но сведя боярство с той высоты, на которой оно стояло прежде, смута не упрочила настоящим образом участия земли в государственном строительстве и не устранила созданного Василием III и Иваном Грозным монархического самодержавия. Нравственное и политическое

крушение боярства в смуте фактически оказалось крушением идеи участия представителей общества как таковых в законодательстве и управлении. Во второй половине XVII в. органы «земли», земские соборы, отмирают. Надо отметить, что постоянное ограничение монархической власти было выговорено, в пользу бояр, у Василия Шуйского, в пользу бояр и всей земли — у королевича Владислава. Но ни Михаил Федорович, ни Алексей Михайлович²⁹ никакой «записи» на себя, т. е. никакого конституционного обещания, не давали.

Так в XVIII век Россия вошла без всякого участия общества в делах государства. Она была государством, в котором царила единая воля монарха, и только она. В этом таилась для государства величайшая опасность, которая раскрылась лишь в конце XIX века, когда созрели глубочайшие противоречия, обусловленные фактом существования в России, в течение веков, государственной формы неограниченной монархии.

Петровское преобразование, в отличие от смуты, было глубоким культурным переворотом. Оно углубило социальные противоречия между господствующими и подчиненными классами культурной рознью, и это обстоятельство во всем его значении было познано лишь в наше время.

В начале XVIII века произошел в истории русской верховной власти кризис, которому обычно не уделяется особенного внимания, но которому я лично придаю огромное значение, ибо исход этого кризиса определил все наше политическое и социальное развитие на пространстве двух столетий и тем самым дает ключ к пониманию второй великой русской смуты 1917 и следующих годов.

19 января 1730 г. умер 16-летний император Петр II³⁰. Верховный Тайный Совет с участием двух фельдмаршалов избрал на престол племянницу Петра Великого герцогиню Курляндскую Анну Иоанновну³¹. Это избрание сопровождалось предложением ей «кондиций», ограничивавших самодержавную власть и являвшихся лишь первым шагом к опубликованию целой конституции Российской империи, которую выработал кн. Дмитрий Михайлович Голицын³², главный деятель Верховного Тайного Совета.

Кн. Дмитрий Михайлович Голицын был русский боярин-вельможа, старший современник Петра Великого. Он вовсе не был противником преобразования. Но это был человек, критически

относившийся к тому, как осуществлялось преобразование, и к личной жизни великого императора. Он был живым носителем в одно и то же время и старых боярских традиций, и известного современного просвещения, приобретенного им уже в зрелом возрасте, и крепкого национального духа. Этот замечательный представитель аристократического национализма явился первым деятелем сознательного русского конституционализма. Но идея русской конституции тогда не ограничивалась одним кругом высшей аристократии. Ею были проникнуты широкие круги дворянства или шляхетства. Самая попытка ограничить власть императрицы разбилась о соперничество двух одинаково стремившихся к конституции сил, верховников и шляхетства. Этим соперничеством воспользовалась группа сторонников самодержавия из иностранцев и гвардейских офицеров. Пункты или кондиции — как говорит современный официальный документ — «Ея Величество при всем народе изволила изодрать».

После неудачи кн. Дм. Мих. Голицына наступила бироновщина и вообще период временщиков, отчасти иностранных, в русской истории.

Кризис власти в 1730 г. — великий поворотный пункт в русской истории, на котором стоит остановиться. В кондициях или пунктах и в тех конституционных проектах, которые развивали эти пункты, заключены были в зародышевом виде две основные здоровые идеи конституционализма. Это: 1) идея обеспечения известных прав человека, его личной и имущественной неприкосновенности; 2) идея участия населения в государственном строительстве. Раннее появление этих идей в английском законодательстве обусловило классическое здоровое развитие британской государственности; забвение этих начал могущественной государственной властью Франции привело к революции. В постепенном осуществлении этих начал, в постепенном распространении их на все более и более широкие круги населения заключается гарантия мирного и здорового развития государственности. В русской литературе было широко распространено мнение, что России была вредна какая-либо аристократическая конституция и что неудача верховников предупредила водворение в России олигархии. Историк 1730 г. сорок лет тому назад ответил на последнее указание фактической справкой, что одержавшее победу над верховниками самодержавие Анны Иоанновны являлось даже «не самодержавием, а именно

олигархией, да еще вдобавок не национальной, а иноземной» (Д. А. Корсаков)³³. Что касается первого указания, что России была бы вредна аристократическая конституция, то оно прямо противоречит здравому историческому смыслу вообще и в частности тому, чему учит русская история последних 200 лет.

Несчастье России и главная причина катастрофического характера русской революции и состоит именно в том, что народ, население, общество (назовите, как хотите) не было в надлежащей постепенности привлечено и привлекаемо к активному и ответственному участию в *государственной жизни* и государственной *власти*.

Я выражаю это еще иначе: Ленин смог разрушить русское государство в 1917 г. именно потому, что в 1730 г. курляндская герцогиня Анна Иоанновна восторжествовала над князем Димитрием Михайловичем Голицыным. Это отсрочило политическую реформу в России на 175 лет и обусловило собой ненормальное, извращенное отношение русского образованного класса к государству и государственности.

В самом деле: шляхетство после неудачи конституционных стремлений 1730 г. получило целый ряд льгот и прерогатив. Узел крепостного права затягивается все туже и туже, и с ним растут другие дворянские привилегии. Укрепление и усиление крепостного права есть то возмещение, которое власть дает дворянству за отказ в политических правах. Это есть как бы непосредственное следствие неудачи конституционалистов 1730 г., но это характерно для всего соотношения между властью и дворянством (а с дворянством почти вполне совпадал в то время образованный класс) на всем пространстве XVIII века. И в первой половине XIX века отсрочка политической реформы и отсрочка отмены крепостного права взаимно обусловлены*.

Между тем в этих двух отсрочках — ключ к объяснению того, что мы пережили за последние два года. Слишком поздно свершилась в России политическая реформа; слишком поздно произошла

* Личное крепостное право возможно и необходимо было отменить в конце XVIII или в начале XIX в. Сложность всей крестьянской проблемы в России в связи с экономическим существом крепостного хозяйства я пытался разъяснить в своей книге «Крепостное хозяйство» (Москва, 1913 г., изд. Сабашниковых).

отмена крепостного права. И поэтому, когда наступил в России конституционный строй — между образованным классом и государством, т. е. государственностью, лежала длинная историческая полоса взаимной отчужденности, тем более роковая, что за это время образованный класс изменил уже свой состав и свою природу. В то же время массы населения еще слишком недавно вышли из рабского состояния. Интеллигенция выросла во вражде к государству, от которого она была отчуждена, и в идеализации народа, который был вчерашним рабом, но которого, в силу политических и культурных условий и своего и его развития, она не знала. В самом деле, с первой четверти XIX в. образованный класс начинает борьбу с государственной властью за участие в государственной жизни. Эту борьбу ведет сперва почти исключительно дворянская интеллигенция, выступившая в 1825 г. в лице декабристов.

Политическая реформа и реформа освобождения крестьян, казалось бы, стояли на очереди в царствование Александра I³⁴. Но власть упустила инициативу из своих рук, и произошел первый в России революционный взрыв. А потом круг образованных людей расширяется, и они все более и более подпадают под влияние самых широких, самых передовых общечеловеческих идей. Русская интеллигенция под прямым воздействием западноевропейской социальной мысли становится социалистической и в то же время радикально-демократической. Она вращается почти исключительно в сфере отвлеченных идей политического и социального равенства, потому что, охраняя в неприкосновенности принцип неограниченной монархии, историческая власть логически вынуждается не допускать интеллигенцию к реальной государственной жизни и практической общественной работе. Между тем кадры интеллигенции все растут и растут, жизнь все усложняется и усложняется, как в России, так и на Западе. В царствование Александра II³⁵, в первой половине 60-х годов и в особенности в начале 80-х годов ставится вопрос о политической реформе. В начале 60-х годов его ставит дворянское движение, в начале 80-х годов он вытекает из борьбы радикальной, социалистически настроенной интеллигенции с самодержавным правительством и идейно ставится передовыми земскими элементами. Ни в том, ни в другом случае власть не может решиться на политическую реформу. В 1881 г. самодержавная власть была очень близка к этой реформе, но царевубийство 1-го марта производит и в правительстве,

и в обществе такую реакцию, что мысль о политической реформе отбрасывается. Между тем, по состоянию умов в интеллигенции, тогда еще не было поздно для того, чтобы умеренная политическая реформа — а только такая была возможна и разумна в России — была разумно и с удовлетворением воспринята интеллигенцией. Круг «недовольных» был тогда сравнительно узок, и это было благоприятно для спокойного проведения реформы. То же следует сказать и о начале царствования Николая II³⁶. И тут власть могла взять инициативу в свои руки, и «общество» удовлетворилось бы умеренной реформой. Но опять эта возможность была упущена, и по мере отсрочки реальной реформы отвлеченные требования интеллигенции все возрастали. В этот процесс вклинилась японская война, во время которой невозможность обходиться без народного представительства, без свободы печати, вообще без того, что зовется конституцией, стала совершенно ясной. К сожалению, и тогда власть не взяла своевременно инициативы реформы в свои руки и дала ее *вынудить* у себя политической забастовкой, носившей почти стихийный характер.

Октябрьская революция 1905 г., протекшая, действительно, в общем мирно и бескровно, могла принести России реально политическую свободу и народное представительство в формах, соответствующих ее культурному уровню, и в то же время внести успокоение и удовлетворение в умы, но при двух условиях, которые оба не были выполнены. Первое состояло в том, чтобы власть искренно и бесповоротно встала на почву тех конституционных принципов, которые она провозгласила. Второе — в том, чтобы образованный класс в то же время понял, что после введения народного представительства и (хотя бы частичного) осуществления гражданских свобод опасность политической свободе и социальному миру угрожает уже не от исторической власти, а от тех элементов «общественности», которые во имя более радикальных требований желают продолжать революционную борьбу с исторической властью. Это значило, что для русских либеральных элементов, скажем прямо, для выдвинувшейся тогда на первый план партии народной свободы или кадетской, с 17 октября 1905 г. и в особенности со времени созыва первой Думы, опасность была уже не справа, а слева. Этого, однако, партия народной свободы не поняла, в чем я вижу ее основную, я бы сказал, историческую ошибку или грех. В то же самое время власть не понимала, что всякая борьба с умеренными

элементами, которым она сама же, переворотом 3-го июня 1907 г., т. е. изменением избирательного закона в Государственную Думу вопреки Основным законам, предоставила решающую роль в народном представительстве, есть нелепое поощрение революционных течений в стране. Не следует забывать, что власть за все время существования 3-й и 4-й Государственных Дум не желала никогда настоящим образом, искренно и последовательно, опереться даже на партию октябристов. Этим она ослабляла себя, ослабляла партию октябристов и усиливала все «левое» в стране.

Вековым отчуждением от государства, обусловленным крайним запозданием политической реформы, в интеллигенции создавался и поддерживался революционизм. Наступила война. И тут опять повторилось то же самое. Власть не видела, что первым и главным ее союзником должны являться все государственно мыслящие элементы в стране. А с другой стороны, значительная часть государственно мыслящих элементов не понимала, что, каковы бы ни были ошибки и прегрешения власти, все-таки враг слева, в затаившемся, но работавшем в значительной мере на средства и под диктовку внешнего врага, Германии, интернационалистическом социализме и инородческом ненавистничестве России. Власть и общество вели между собою более или менее открытую борьбу, а враги России учитывали эту борьбу как элемент ее слабости и гибели. Власть была ослеплена, но так же, и еще больше, была ослеплена общественность, не видевшая огромной опасности в революционизме, который просачивался в народные массы, разлагал их духовно и подготовлял крушение государства.

Когда в Государственной Думе гремели речи против правительства, ораторы Думы не отдавали себе отчета в том, что совершалось вне Думы, в психике антигосударственных элементов и в народной душе. Просто большая часть русского интеллигентного общества не понимала народной психологии и не учитывала трагической важности момента. Ей казалось, что она во имя патриотизма обязана вести борьбу с правительством. Но, конечно, сейчас для всякого ясно, что единственным разумным с исторической точки зрения образом действия была величайшая сдержанность. Это следует сказать и о Государственной Думе, и о печати.

Наступила революция. Ее размах, ее первые проявления обнаружили ее истинную природу. Революция была крушением государства и армии. Она сделала невозможным продолжение

войны. Те оппозиционные элементы, которые в Государственной Думе во имя патриотизма произносили речи против правительства, наивно думали, что революцию народные массы произвели во имя более успешного продолжения войны. Между тем, поскольку в революции участвовали народные и, в частности, солдатские массы, она была не патриотическим взрывом, а самовольно-погромной демобилизацией и была прямо направлена против продолжения войны, т. е. была сделана ради прекращения войны. Вот почему в революции такой успех имел пресловутый бессмысленный лозунг: «без аннексий и контрибуций».

Патриотическая идея революции оказалась каким-то интеллигентским недоразумением перед лицом этой самовольно-погромной демобилизации. Таким образом, подлинная природа революции решительно разошлась с тем, что в ней воображала себе русская интеллигенция. Вообще, подлинный лик революции оказался совсем не тем, о каком мечтала русская интеллигенция, даже социалистическая. Логичен в революции, верен ее существованию был только большевизм, и потому в революции победил он.

Но значительная часть русской интеллигенции не имела мужества признать свои революционные заблуждения, изобличенные жизнью. Некоторая часть ее даже сознательно приjala ужасную реальность этой антигосударственной и антиобщественной революции и продолжала ее идеализировать по формуле «постольку — поскольку», не желая понять, что эта революция есть целостное, законченное в себе явление, которое требует к себе такого же целостного отношения.

Революция эта была антипатриотична, противонациональна и противогосударственна, и потому она с логической и психологической необходимостью привела к распаду армии и к разрушению государства. Она была сочетанием отвлеченных радикальных идей, на которых воспиталась интеллигенция, с анархическими, разрушительными и своекорыстными инстинктами народных масс. Она была пугачевщиной во имя социализма. Поэтому она таким разрушительным смерчем пронеслась по стране. В конце концов она, подобно пугачевщине, вылилась в форму военной организации, осуществляющей гражданскую войну. Начав с провозглашения мира, с отрицания и разрушения армии, эта социалистически-интернационалистическая организация с неслыханным упорством начала войну, всем ей жертвуя и ради самосохранения все подчиняя

социалистическому милитаризму. Обещание немедленного мира превратилось в реальность непрерывной войны. Уничтожение армии привело к превращению всего государства в красную армию.

Были два выхода из того положения, которое создалось логическим завершением этой революции в большевизме: либо большевизм будет преодолен извне, какой-то внешней по отношению к нему силой, либо он будет преодолен изнутри, силами, развившимися в нем самом, подобно французской революции, которая из себя родила революционную армию и ее политического вождя.

Одно время казалось, что история бесповоротно решила вопрос в первом смысле. Сейчас положение уже изменилось, и проблема русской революции и контрреволюции чрезвычайно усложнилась. Насколько в своих первых шагах, в настроениях масс, в поведении интеллигенции русская революция была непохожа на великую французскую, настолько, восторжествовав, она начинает объективно перерождаться в смысле в известной мере сближающем ее с французскими событиями конца XVIII и начала XIX веков. Русская революция не похожа на французскую. Но русская контрреволюция, сейчас смятая и залитая революционными волнами, по-видимому, должна войти в какое-то неразрывное соединение с некоторыми элементами и силами, выросшими уже на почве революции, но ей глубоко чуждыми и даже противоположными. В этом самопреодолении русской революции, и *только в нем*, могут обнаружиться некоторые черты сходства между русским и французским революционным процессом. Но тем не менее нужно прежде всего отдать себе отчет в глубине различий обоих процессов.

Французская революция не только провозглашала идеи, но, несмотря на реакцию, к которой она привела, в этой реакции и осуществила свои идеи. Не то в русской революции. Все, что от нее останется, противоречит идеям, ею провозглашенным. Она провозгласила социализм, но в действительности она есть опытное опровержение социализма. В области аграрной она провозгласила отрицание частной земельной собственности, но самым важным психологическим ее результатом является развитие собственнических чувств и собственнической тяги народных масс к земле, развитие, которое ни к чему другому, как к утверждению крестьянской собственности, привести не может.

Она провозгласила отрицание армии, а между тем она логически привела к тому, что армия приобрела в жизни государства первен-

ствующее значение. Она ниспровергла монархию и провозгласила народовластие, а в то же время сейчас диктаторская власть, опирающаяся на военную силу, есть единственная возможная для России форма государственной власти. С другой стороны, и в народных массах, и в интеллигенции идея монархии сейчас весьма сильна, и есть многочисленные убежденные монархисты, которых сделала монархистами именно революция. Словом, ничего из идей этой революции не осуществилось, а все, что подлинно осуществляется, противоречит ее идеям.

Вот почему русскую революцию 1917 и следующих годов следует сближать, по ее характеру и по соотношению в ней идей и действительности, не только и даже главным образом не с великой французской революцией, а с русской смутой XVI–XVII вв., ибо в нынешней русской революции, как и в первой смуте, осуществляется нечто, с этим движением как таковым ничего общего не имеющее.

Мы не прозираем с полной ясностью в будущее, русская революция — в конечном своем результате — стоит перед нами неразрешенной загадкой. Но какими бы путями ни пошло восстановление России, — два лозунга, как нам кажется, должны стать руководящими для стремлений и действий русских патриотов, в их отношении к прошлому и будущему Родины. И эти лозунги: *новая жизнь и старая мощь*. Нельзя гнаться за восстановлением того, что оказалось несостоятельным пред лицом самой жизни, и в этом смысле мы стремимся к *новой* жизни. Но в то же время можно и должно трепетно любить добытое кровью и жертвами многих поколений могущество Державы Российской. Мы никогда не считали Россию колоссом на глиняных ногах. Ибо если бы мы это считали, то как бы мы верили в восстановление России? А это значит, что мы верим в подлинность той мощи, которой обладала историческая Россия. И новую жизнь России поэтому мы не отделяем от ее старой мощи.

